

Письмо как отношение

Кеннет Дж. Джерджен

Gergen, K. J. (2000). Writing as relationship. In K. W. Schaie (Ed.), *Social structures and aging*. New York: Springer.

Перевод Андрея Корбуа

Умение танцевать ногами, понятиями, словами: нужно ли мне еще говорить, что это надо уметь делать также *пером*?

Фридрих Ницше. Сумерки идолов

Главные слова обозначают не вещи, а близкие отношения.

Мартин Бубер. Я и Ты

Множество современных диалогов наделяют реальностью коммуналное измерение дискурса, в противоположность когнитивному и экспрессивному. Философия обыденного языка и речевых актов, прагматический поворот в семиотической теории, этнометодология и лингвистическая социология, возрождение риторического анализа, современный дискурсивный анализ, а также критические исследования господствующих идеологий и отношений власть/знание позволяют нам полнее оценить функции лингвистической формы в определении контуров культурной жизни. Традиционный интерес к синтаксису и семантике уступает место интересу к тому, что совершается совместно с другими и для других в процессе сообщения содержания. Ниже я попытаюсь распространить данный подход на область письма, и в частности, исследовать относительное значение различных жанров академических текстов. Как я покажу, письмо является по своей сути действием внутри отношений; именно в отношениях письмо обретает смысл и значение, и наоборот, наша манера письма допускает одни формы отношений, игнорируя или подавляя другие.

Если письмо составляет часть отношений, то нам надлежит спросить, какие формы отношений поддерживаются существующими традициями научного письма. Как эти формы письма влияют на отношения между коллегами, между представителями принципиально разных академических сообществ и между преподавателями и студентами? Каким образом эти текстуальные традиции способствуют установлению дисциплинарности; есть ли в них потенциал для преодоления тех границ, которые сегодня разделяют дисциплины? И, если брать шире, как существующие формы письма влияют на общество в целом? Чтобы оценить, что поставлено на карту, приведем замечание Джона Шоттера относительно современного академического обмена: «Не осуществляется ли своеобразное насилие в интеллектуальных дебатах и дискуссиях; на университетских коллоквиумах, семинарах или в аудитории; в академических текстах? Не присутствует ли что-то неявное в тех способах, которыми мы вступаем сегодня в отношения в рамках академической жизни, что заставляет нас бояться друг друга? Не существует ли в наших нынешних обстоятельствах что-то, что обязывает нас (или, по крайней мере, некоторых из нас) беспокоиться об убедительности своих слов или наличии собственной позиции? Исходя из своего опыта, я могу сказать: есть» (Shotter, 1997, с. 17—18).

Если формы письма вносят свой вклад в обжитые нами социальные миры, то как происходит этот процесс? В данном случае меня будут особенно интересовать

онтологические и ценностные предположения — наряду с формами социальной организации, — на которых строятся эти жанры письма. Я покажу, что наши стили написания текстов заключают в себе не только концепции человека, но и образы идеального характера, к которым нам следует подобающим образом стремиться. Там, где содержание или темы могут радикально меняться с течением времени, формы написания зачастую остаются стабильными. Например, в то время как в последние десятилетия научная психология сместила фокус своего внимания с поведенческих на когнитивные модели функционирования человека, формы научного письма остались прежними. И этот способ написания не только скрывает в себе концепцию идеального человека, но также устанавливает определенное состояние отношений — между авторами и читателями и, косвенно, между всеми нами.

Предлагаемый текст имеет форму нарратива, состоящего из трех частей. Сначала я постараюсь показать, что наши основные традиции письма в социальных науках были порождены специфическим историческим этосом и их социальные следствия сегодня глубоко проблематичны. Посеяв тем самым семена драмы, я исследую далее некоторые формы письма, которые начинают сегодня преодолевать влияние наших устоявшихся традиций. В заключительной части я коснусь тенденций в репрезентативных практиках, которые предлагают радикально пересмотреть как наши концепции идеальных человеческих субъектов, так и наши модальности взаимодействия.

Но прежде надо сделать три предостережения. Во-первых, в фокусе моего внимания находятся письменные традиции социальных наук. Хотя я верю, что все это имеет важное значение также для естественных и гуманитарных наук, однако в этих последних есть нечто, мешающее простой генерализации. Что касается педагогического значения этих размышлений, я предполагаю наличие у учеников, по крайней мере, элементарных навыков письма. Мои замечания не следует толковать как исключаящие развитие хотя бы минимальных умений в области грамматики, пунктуации, лексики и т. д. Наконец, хотя я и буду критиковать наши основные традиции письма, это не означает огульного их отвержения. Моя цель здесь состоит в том, чтобы доказать необходимость расширения наших возможностей репрезентации и результирующих отношений, а не их сокращения.

Инкапсулированные я: привилегия и пейорация

Социальные науки в значительной мере являются продуктом дискурса Просвещения, исходящего из определенных предположений о природе знания, космологическом порядке и возможности человеческого совершенствования посредством систематических изысканий. Для наших целей наибольшее значение имеет то, что существенные элементы просвещенческой концепции человеческого функционирования проникают в формы письма, доминирующие сегодня в социальных науках. Что касается образов человеческой жизнедеятельности, то здесь я имею в виду дуалистическую традицию, исходя из которой мы допускаем существование индивидуальных сознаний, способных добывать знание об окружающем материальном мире [1]. Ключевым компонентом психического мира, начиная с Декарта и заканчивая современной когнитивной психологией, выступает способность рационального мышления (теперь это способность «обрабатывать информацию»). В частности, благодаря тому, что разум связан с сенсорными способностями наблюдения, индивид может накапливать объективные знания о мире. Объективность снижается в той степени, в какой желания, мотивы или эмоции (являющиеся манифестациями материальной или животной сущности) искажают процессы рассуждения и наблюдения. Только на основе индивидуального знания обычный человек может подняться выше животного царства, отвергнуть авторитет королей и священников и выжить — или даже преуспеть — в физическом мире.

Это представление о функционировании индивида оказывает заметное влияние на наши формы научного письма. Как отмечали многие исследователи, просвещенческая концепция объективного, свободного от ценностей знания способствовала упадку риторических исследований. В мире, где знание является итогом тщательного наблюдения и безупречного рассуждения, искусство убеждения делегитимировано (как «просто риторика»). Обольщение, будь то посредством слов или тела, делает разум порочным. Но для нас более важно то, что просвещенческая концепция разума отражается в исходных свойствах письма в социальных науках. В частности, стоит упомянуть желательность словесной экономии, логической стройности, ясности, беспристрастности, всесторонности и определенности. Боязнь скатится к риторике и требование эффективности мышления ведет к принятию оккамова указания «отбрасывать ненужные слова». Поскольку логичный ум не содержит противоречий, важна последовательность в аргументации. Так как знающий разум проникает в суть вещей, требуется ясность изложения. В свете подозрительного отношения к желаниям и ценностям приветствуется прямой, ровный, лишенный эмоциональности стиль. В силу того, что знания представляются накапливаемыми, на первое место выдвигается всесторонность описания и определенность (или сужение области неясного). Направляющей метафорой письма в социальных науках служит не искусно сделанная урна, а нечто вроде идеально оборудованной канонерки — мощной, безупречной в действии, упорной в преследовании цели и непобедимой. Рассмотрим несколько образцов.

«Если единственное желание P в C в t — достичь G и если P полагает, что попытка сделать A в C в t альтернативна безусловной привлекательности продвижения к G , если P считает, что он или она может сделать A в C в t и если альтернативные действия, которые, как кажется P , он или она может осуществить, по мнению P требуют не меньше усилий, чем A , тогда P попытается сделать A в C в t » (Smedslund, 1988, с. 74).

«Также предсказуемо, что когда (в коммуникации) наступает молчание, оно будет дифференцированно определяться на основании правил либо как (i) пауза перед последующим применением Правил 1(b) или 1(c), либо как (ii) промежуток неприменения Правил 1(a), (b) и (c), либо как (iii) избранное следующим говорящим знаковое (или могущее быть приписанным в качестве такового) молчание после применения Правила 1(a)» (Levinson, 1989, с. 48).

«Люди, от которых требовали вспомнить примеры собственного поведения, иллюстрирующие черты их личности, при ответе на последующий вопрос относительно того, обладают ли они той или иной чертой, действовали не быстрее тех, кто просто определял слово (Klein et al., 1989). Если бы припоминание специфических поведенческих случаев было частью процесса самооценки, тогда на второй вопрос отвечали бы быстрее после автобиографических воспоминаний, чем после семантического задания» (Sia, Lord, Blessum, Thomas, & Lepper, 1999, с. 520).

Следует отметить, что вряд ли можно говорить о единогласии в отношении предпочитаемых форм изложения в социальных науках. Сохраняются самые разные традиции, с бесчисленными субдисциплинарными ответвлениями. Например, в некоторых версиях социальных наук — прежде всего гуманистической, романтической и идеалистической — по-прежнему сильны элементы домодернистских жанров письма [2]. Однако я полагаю, что какими бы они ни были — модернистскими или домодернистскими, — эти различные формы письма обладают значительным сходством на уровне их относительных эффектов. Во-первых, они поддерживают предположение о замкнутом сознании — вне зависимости от того, рационально оно или чувственно. Слова рождаются во внутреннем психологическом пространстве и служат каналами его выражения. В этом смысле формы письма создают и поддерживают раздробленный социальный мир. Письмо отражает содержание индивидуального сознания, отличного от сознания тех, кто предшествовал ему (поэтому в случае плагиата применяются суровые санкции), а

также тех, кто может впоследствии прочитать его. Автор — это *Ursprung*, видящий и знающий.

Помимо имплицитного деления общества на автономные единицы, в форму письма встроена структура привилегии. Письмо представляется как невиданный до сих пор «прорыв в познании», достигнутый благодаря более глубокой, чем у других, интуиции автора. Аудитория, напротив, позиционируется письмом как невежественная или незнающая. Оратор никогда не обращается к равно просвещенному коллеге. Форма обращения — откровение, форма истины, разума или вдохновенного прозрения, поэтому читатели нужны в качестве тех, кто «еще должен прозреть». (Иллюстрация — настоящий текст; мой способ артикуляции делает меня знающим источником, в отличие от читателя, к которому обращаются как к несведущему в обсуждаемых проблемах.) Иерархия привилегии является так же, косвенно, порядком адекватности. Когда письмо представляется знанием, автор определяется как адекватный (рациональный, проницательный, продвинутый), а аудитория — как менее адекватная. Фактически мы наследуем и поддерживаем формы письма, которые способствуют отчужденным отношениям, неадекватности, а также атомистической и иерархической концепции общества.

Как тогда наши традиционные формы письма влияют на процесс структурирования академических дисциплин и на возможности пересечения их границ? В той степени, в какой наши формы письма конструируют мир замкнутого и отчужденного бытия, индивидуальный автор обнаруживает себя в положении потенциального солипсита. Подтвердить верность или рациональность своей мозговой деятельности невозможно, ничто не гарантирует ценности ее вклада в знание. Иными словами, обособленный индивид не способен подтвердить свою подлинность. Для этого требуется отвечающая аудитория, но при этом такая, которая сыграет роль незнающей и которая во многом благодаря этому состоянию невежества будет понимающе реагировать. По большому счету, именно существование понимающей аудитории, реальной или воображаемой, позволяет ученому удостовериться в том, что он является нормальным человеческим существом. Конечно, на основании требований, предъявляемых в рамках учебных курсов, можно обеспечить себе некоторую степень одобрения со стороны студентов. Кроме того, коллеги, поскольку они ориентируются на культурные правила взаимности, могут оказывать ученому поддержку, но в основном при условии подтверждения того, что она будет взаимной. Таким образом, рационализируя некоторую форму учебного плана и выстраивая сеть профессиональной поддержки, изолированный индивид обретает ощущение своей ценности. То есть, говоря шире, чтобы утвердить концепцию себя как достойного существа (в рамках матрицы Просвещения) необходимо что-то, объединяющее академическую дисциплину.

Эта центрирующая тенденция обостряется другими факторами. Самоидентификация, как мы видели, обычно (хотя и не обязательно) невозможна без аудитории, соглашающейся изображать покорность. Однако для ученого исполнять эту роль — значит одновременно определять себя как «пустой сосуд», неспособный на «самостоятельное решение». Поэтому научный ландшафт полон тех, кто настроен против автора (если только тот не умер или не изменил вере). Для зрелого ученого критика — главная форма возражения коллегам. Привычные нам формы академического обмена обладают довольно сильным потенциалом разрушения индивидуального достоинства. Ученый сталкивается с существенной самонеопределенностью: «Кто я, какова моя ценность, насколько я хорош?» Чтобы уменьшить неопределенность, надо повторить цикл: новое исследование, новый текст, но теперь в расширенной форме. Можно изобрести новые понятия, привлечь неизвестные работы, использовать более туманный словарь, изучить другие популяции, тем самым увеличив диапазон «известного». Такое наращивание усиливает индивидуальную позицию в иерархии и, в свою очередь, толкает других к замкнутому кругу опровержения и обновления. Концептуальный, терминологический и

методологический мир быстро расширяется, и выйти из этого процесса, сохранив ощущение индивидуальной значимости, практически невозможно. Именно благодаря непрерывному чтению, критике и переформулировке поддерживается непрочное чувство осмысленности своего бытия. В то же время сообщество возводит вокруг себя непроницаемую стену слов. Когда незнакомец с трудом проникает в этот дом языка и неумело использует соответствующий дискурс, он или она рискует быть осмеянным. Наш способ письма включает в себя нашу форму академической жизни и стратегию дисциплинарного деления.

Связующее письмо: открытие другому

Каким образом мы вписываем себя в наши тексты во всей своей интеллектуальной и духовной целостности? Каким образом мы вводим собственные голоса, собственные индивидуальности, в то же время претендуя на то, чтобы что-то «знать»?

Лорель Ричардсон. Поля игры

За последние десять лет я стал гораздо более чувствительным к обозначенным проблемам, и в своем собственном письме я начал искать пути преодоления традиции. Это был профессиональный риск, и я не всегда мог «найти свой голос» в процессе экспериментирования. Меня так же восхищали смелые попытки других исследователей открывать новые модальности выражения в социальных науках и тем самым новые формы отношений. Особенно важны в свете обсуждаемой тематики те авторы, которые пытались установить более разнообразные отношения с читателем. Вместо того чтобы позиционировать себя в качестве полностью рациональных агентов, недоступных и превосходящих всех остальных, авторы этих работ предстают перед нами больше похожими на обычных людей, в отношениях с которыми читатель может переходить от оппозиции я/ты к позиции «мы вдвоем». Такие тексты подтверждают ценность маргинализированных в просвещенческой концепции человека областей психики: желаний, эмоций, телесных ощущений. Кэролин Бочнер ухватывает дух такого письма, когда говорит о том, что ее книга об отношениях между матерями и дочерьми «показывает, как связаны между собой периоды жизни женщины, и помогает читателю ощутить то, что я чувствую, услышать то, что я думаю, а также выразить то, что они сами чувствуют и думают относительно собственного опыта» (Bochner & Ellis, 1996).

Еще один пример можно взять из работы, выполненной в завоевывающем сегодня все большую популярность жанре, автор которой, социолог Кэрл Ронай, раскрывает разные аспекты того, что значит быть ребенком умственно отсталого человека: «Меня возмущает обязанность делать вид, что в моей семье все в порядке, обязанность, подкрепляемая молчанием, секретностью и риторикой типа „ты не должна ни с кем говорить об этом“. Мы притворяемся, чтобы все шло гладко, но это не срабатывает. Все вокруг моей матери лгут и фальшивят, включая меня. Почему? Потому что никто не сказал ей в лицо, что она больна. Мы говорим, что не хотим расстраивать ее. Я не думаю, что мы готовы встретиться с ее реакцией на правду... Из-за моей матери и из-за того, как семья, в качестве единого целого, решила справляться с этой проблемой, я утопила целый фрагмент своей жизни во лжи» (Ronai, 1996, с. 115).

В одном из вариантов подобного аутоэтнографического отчета социолог Карен Фокс использовала два нарратива от первого лица, полученные в ходе интервью с сексуальным насильником (Беном) и его жертвой — падчерицей (Шерри) (Fox, 1996). Автор также добавляет собственный голос, поскольку она имеет право говорить на равных, будучи сама в детстве жертвой сексуального насилия. Индивидуальные голоса выстраиваются в три параллельные колонки:

Бен — сексуальный насильник

Знаете, я люблю ее.

У нас действительно хорошие отношения.

Она любит меня, она сама сказала мне об этом.

Карен — исследователь

Я хочу верить Бену. Мне так кажется.

Я всегда надеялась, что я значила что-то
для моего насильника;

что он действительно любил меня;

что он действительно чувствовал,

что я особенная.

Шерри — жертва

Я никогда не испытывала

романтической любви к нему.

Это вызывает у меня отвращение...

Я любила его, как отца (с. 339—341).

Триадическая форма письма Фокс не только вводит в описание ее личный (и одновременно «знающий») голос, но и вызывает определенную диффузию идентичности. Фокс поясняет в своей книге, что отобрала и переработала нарративы Бена и Шерри, и этим тоже окрасила их голоса своим собственным. Тем самым автор становится частью нас, читателей; единая и последовательная индивидуальность, столь желанная в модернистской традиции, уступает место многогранному существу. Вдобавок эти грани содержат другие голоса, так что мы можем теперь поглотить голос автора.

Однако есть авторы, более откровенно демонстрирующие свой поливокальный характер. Одну из ранних и наиболее провокационных попыток такого рода можно найти в книге Майкла Малкея «Слово и мир» (Mulkey, 1985). Эта работа особенно интересна, поскольку она показывает, как абстрактная теория — фактически закрытое хранилище модернистского формализма — может быть представлена в качестве персональной. Например, в вводной главе повсюду возникает голос ворчливого собеседника. Рассказчик Малкей говорит формальным тоном о «таком расширении диапазона аналитического дискурса, чтобы в него вошли формы, ранее рассматривавшиеся как неуместные» (с. 10). Беспардонный собеседник Малкей отвечает: «Это, в принципе, звучит очень привлекательно, но здесь игнорируется важное различие между фактом и фикцией» (с. 10). Малкей продолжает объяснять своему оппоненту, что даже в науке «то, что является фактом для одного [ученого], не больше, чем фикция, для другого» (с. 11). Собеседник возражает: «Не рискуем ли мы спутать два различных значения слова „фикция“?» (с. 11). Дальнейшие главы содержат обмен корреспонденцией между Марксом и Спенсером, их письма самому Малкею, а также дискуссию между выпившими участниками Нобелевской церемонии.

Использование множества голосов — не единственный способ снятия ограничений единичности и приглашения читателя к более богатым отношениям. Нормальная, сложная жизнь так же означает, что большинство из нас обладает потенциалом участия в различных жанрах. Впервые сила жанрового разнообразия раскрылась передо мной, когда я участвовал в презентации афро-американского теоретика Корнела Уэста, поразившего меня тем, насколько легко он совмещал риторику формальной теории, безукоризненную речь представителя среднего класса и жаргон черного проповедника. Не один, так другой голос достигал меня; их совокупной силе противиться было практически невозможно. Из письменных текстов на меня огромное впечатление произвела книга Стивена Тайлера «Невыразимое» (Tyler, 1986). Как и Малкей, Тайлер желает расширить диапазон теоретических идей,

но творя свои слова/картины, он пользуется богатой палитрой жанров. Например, в одном эпизоде, пытаясь разрушить научное представление о языке как носителе специфического значения (благодаря этому ясно раскрывающему истину), Тайлер шутя деконструирует фразу из семиотики («движение вдоль синтагматической оси...»), демонстрируя, что если до конца проследить значение каждого из образующих ее слов, то оказывается, что эта фраза на самом деле означает «вторая мировая война столкнула анально фиксированных немцев и орально фиксированных британцев». В игровом порыве Тайлер безостановочно нагромождает одну дискурсивную традицию на другую, чтобы дать жизнь следующему аргументу: «Симультанность парадигмальной импликации останавливает стремительный поток означающих в сингулярности времени. Не следуй развилками! Не разветвляйся! Держись меня, Борхес! Время идет!» (с. 6). Но даже если бы этого оказалось недостаточно, заключительные строки той же главы покорили бы меня. Не было ли это отзвуком всего того, что я так любил в романтической поэзии XIX в.? «Под мерцающим арктическим сиянием, отражающем скрипы и стоны полярного льда, чуть вспыхивает и гаснет пламя жертвенного очага, в самом его сердце, среди дышащей ветхостью тьмы антиподной ночи» (с. 59).

Что происходит при этом с традиционными критериями совершенства научного письма? Каким бы образом ни расширялось пространство личного присутствия автора, в любом случае эти критерии теряют свою важность. Например, в указанных работах практически не соблюдается требование словесной экономии; может ли строгое письмо вызывать ощущение растворения авторского присутствия? Эти тексты далеко не беспристрастны; не лучше ли это, чем скрывать свои намерения под обманчивым покровом нейтральности? Не ориентируются они и на требование логической последовательности; фактически поливокальное письмо разворачивается как критика самого этого критерия. В этих произведениях традиционные прозрачность и определенность уступают место двусмысленности и амбивалентности; для достижения полноты отношений в письме не требуется «всеохватывающее описание», поскольку всегда должно оставаться пространство для дополняющего голоса читателя.

Но гораздо важнее, какие эффекты вызывают эти эксперименты, чем то, чего в них нет. Я чувствую, что они кладут начало иной форме отношений, отличной от той, с которой я обычно сталкивался. Вместо холодной, сдержанной и навязчивой рациональности автономного другого, я часто встречаюсь с теплотой, спонтанностью и признанием слабостей, т. е. всем тем, что привлекает меня в авторе. Мы обнаруживаем здесь не противопоставление его/ее позиции моему мнимому невежеству или той позиции, которую я должен отстаивать от своего лица, а скорее приглашение к чему-то наподобие разделенной субъективности. В письме, использующем всю полноту первого лица, я, как читатель, могу воображать себя писателем, чувствовать и думать вместе с ним. Граница между автором и читателем стирается. Более того, благодаря аффективно нагруженному языку — дискурсу ценностей, желаний, эмоций и духа — я начинаю иначе переживать письмо; в отличие от моей реакции на традиционное письмо, я могу испытывать чувство полного слияния всего своего тела со словами. При этом снижается так же ощущение иерархии и соревнования, вызываемое традиционным письмом. Выдвижение обоснованного аргумента всегда предполагает применение критерия превосходства/неполноценности; однако если вы говорите исходя из опыта, мы можем участвовать на равных. Когда автор признает свои слабости (вроде личных пристрастий), я перестаю позиционироваться как занимающий более низкое положение; когда он проявляет свою многоликость, я перестаю бороться со своей непоследовательностью. Мы не конкуренты в мире письма, мы связаны общим исследовательским проектом.

Меня так же привлекает то, как эти нетрадиционные практики влияют на мое ощущение дисциплинарных границ. В письме, в котором автор переживается мной в

качестве полноценной личности, забота о дисциплинах теряет смысл. Автор здесь — это прежде всего человеческое существо, увлеченное исследованием; то, что он или она, так случилось, имеет степень доктора философии в данной области, вторично. Подобное же низложение дисциплинарности происходит, когда автор обращается к поливокальности и/или многообразию жанров. Если авторы представляют собой некие совокупности, то как я могу определить их «подлинную дисциплинарную принадлежность»? И если я резонирую с одним или несколькими из их голосов, зачем мне вообще беспокоиться о ней?

Относительная репрезентация

Нам нужна не... «бесконечная безопасность» идеологий, а поощрение «ненужного риска» в действии и взаимодействии.

Виктор Тэрнер. От ритуала к театру

Конкретный язык театра может обострить и усилить восприятие. Он живет в сфере чувств. Он находит новую лирику жеста, стремительность и размах которых позволяют ему выйти за пределы лирики слова. Он окончательно порывает с подчинением сознания языку...

Антонен Арто. Театр абсурда

Чьи слова печатают сейчас мои пальцы? Конечно, не мои. Если бы они были только моими, можно ли было их вообще назвать словами? Не стали бы они бессмыслицей? А может мои слова взяты у других, и тогда я лишь фальшивая индивидуальность? Как мог бы ответить Михаил Бахтин, любой разговор в каждый момент является разновидностью чревоуверования. Но этот ответ не может удовлетворить нас, поскольку мы вскоре обнаружим себя скатывающимися к бесконечному регрессу. Если мои слова являются словами других, то откуда те взяли их? У других? Но мы сами в их списке... Нет, эти слова — если им вообще надлежит иметь смысл — должны рождаться в отношениях. Не мои, не ваши, но наши... и не только наши... они участвуют в игре языка, в которой нет арбитра, творя бесконечные вариации на темы, которые сами представляют собой вариации. Я не имею смысла без вас, а вы — без меня. А если так, то что делать с этими местоимениями — «я» и «вы»? Не вводят ли они в заблуждение, создавая искусственную дистанцию и разобщенность? Нет, мы не одно: говорить, что мы «одно», — значит возвращаться к старому. Но мы можем отдать должное тому первичному процессу отношений, которому обязаны самой возможностью вас, меня, нас и без которого не было бы никакого ощущения реального или правильного, вообще не было бы причины писать.

Каким образом наши способы репрезентации могут ввести идею относительности в повседневное сознание? Посредством разработки альтернативных форм письма, которые открывают возможности новых модальностей отношений. Поэтому, изобретая новые формы письма, мы можем создавать новые формы действия. Отдаленность, отчужденность, соревнование, иерархия... все это можно отбросить. Вместо этого мы могли бы сделать ставку на относительные игры, поддерживающие общность, приглашающие к бесстрашному поиску и позволяющие совместно конструировать лучшие миры. (Я боюсь, мои слова здесь становятся восторженными, наивно оптимистичными, безоглядно идеалистичными... но опять же, если мы живем среди созданных нами самими значений, почему бы не выбрать энтузиазм?)

В качестве иллюстрации некоторых возможностей возьмем, например, диалогическое письмо. Вместо того чтобы писать как единичный агент, контролирующий значение и оберегающий свое священное Я, почему бы не писать вместе с другими, причем так, чтобы не было никакого единичного сообщения, а лишь переплетение отдельных нитей, образующих целостную, сложную ткань? Ниже

приводится выдержка из одного такого исследования, триалога, где я (выступая в своей академической роли) совместно с двумя практикующими терапевтами (Линн и Харлин) обсуждаю новое движение в практиках лечения, в рамках которого терапевты диагностируют расстройства отношений. Большая часть нашей беседы разворачивалась вокруг критики диагностики. Теперь мы начинаем рефлексировать то, о чем говорили:

«КДД: Надежда, которую мы втроем разделяли в этом усилении, состояла в том, что триалог как форма письма мог бы сам по себе выступить наглядным примером некоторых преимуществ конструкционистского подхода к относительному диагнозу. Что происходит, когда мы отказываемся от монолога (соответствующего единичному голосу в практиках навешивания диагностических ярлыков) и вступаем в многоголосый разговор (которому отдают предпочтение конструкционисты)? В некоторой степени, как мне кажется, эта надежда оправдалась, поскольку каждый из нас принес свой уникальный голос, вобравший в себя различный опыт, отношения и литературу. Наш случай стал богаче в результате совместного участия. В то же время, поскольку мы во многом согласны друг с другом, триалогическая форма не раскрылась в полной мере. Мы еще не воспользовались ее каталитическим потенциалом.

Развивая эту возможность, я хочу сосредоточиться на моменте несогласия. Можем ли мы использовать конфликт в рамках данного диалогического пространства не так, как он используется в монологической ориентации (где собеседник, как правило, скрывает внутренние конфликты ради достижения абсолютной непротиворечивости)? Что касается диагностики, то я действительно не согласен с предложением Линн включиться в то, „что уже имеет место“. Она указывает, что „процесс определения является первичным обрамляющим актом любого рода терапии или консультирования“, и под влиянием различных наших критических выпадов предлагает умножать количество определений, включая в их число даже те, которые даются самими клиентами...

Теперь я понимаю, что для меня, возможно, проще занять именно такую радикальную позицию, потому что я не терапевт, и от того, поддерживаю я или нет терапевтические традиции, не зависит наличие у меня средств к существованию...

ХА: Кен считает, что наш триалог не создал того каталитического потенциала, на который он надеялся. У меня же этот триалог вызвал гораздо больше мыслей, чем заметно по тому, что я написала. Я много обсуждаю проблему диагнозов сама с собой и часто затрагиваю вопросы диагностирования в своих беседах с коллегами и студентами. Это касается и терапии: всегда ли виден каталитический потенциал? Могут ли наши вынесенные на бумагу слова помочь другим в обсуждении диагностики? Надеюсь, да.

Я расскажу об одном случае, который великолепно иллюстрирует сложность человеческих проблем и то, как диагноз и основанное на нем лечение могут излишне упрощать и обострять их...

ЛХ: Кажется, наш разговор сейчас переходит в новую плоскость. Я хочу спросить, случилось бы это изменение, если бы я не „присоединилась к оппозиции“ или если бы Кен не решил „не согласиться“? Если бы мы с самого начала избрали формат дебатов, в которых каждый защищает свою позицию, достигли бы мы этой точки раньше? Кэтрин Бейтсон сказала недавно на одной конференции, что для того, чтобы возникла импровизированная беседа, которую она считает полезной, люди должны сначала установить, что у них есть общий код. Так что, может быть, это вопрос стадии. Что вы, оба, думаете?

В ответ на последние замечания Харлин скажу, что, как мне кажется, терапевты, стремящиеся найти свою нишу в области практик лечения, явно не видят иного пути, кроме как оставаться в определенных диагностических рамках. Хотя сама я отказалась от них, я почувствовала, что должна вернуться обратно, чтобы представить их „сторону“. Но, я думаю, Харлин права, когда говорит, что обращение к

медицинской метафоре не только отдаляет нас от наших клиентов, но и делает нас менее эффективными» (Gergen, Anderson, & Hoffman, 1996).

Безусловно, у триалога есть свои недостатки. Но что вдохновило меня в этой попытке, так это тот факт, что я оказался способен работать вместе с профессиональными практиками, разрушая самоочевидную оппозицию «чистого» и «прикладного». Наложив наши голоса друг на друга, мы смогли создать гораздо более сильный прецедент, но в то же время такой, который отличался своей неспособностью охватить целое — во многом подобно тому, о чем мы говорили при обсуждении диагностики. Кроме того, я многому научился у такого письма; оно строилось не на артикуляции уже занимаемой позиции, а на усложнении моего понимания в ходе взаимообмена. Этот процесс помог нам так же наладить связи, которые по-прежнему остаются питающими и продуктивными. Я начал применять проекты диалогического письма в некоторых своих студенческих группах, и иногда результаты были просто потрясающими. Письмо в контексте текущего разговора делает ощутимо значимыми прилагаемые усилия: студент пишет для других, которые, опираясь на него/нее, развивают дискуссию дальше. Кроме того, студенты свободны использовать любые жанры — не только академические формальности, но и уличный язык, интимную речь, иронию, юмор и т. д. Созданная композиция делает отношения живыми и вызывает чувство восхищения, т. к. процесс не был задан заранее.

Одной интересной особенностью диалогического письма является его сознание адресованности. В отличие от безличной формы обращения, столь характерной для традиционного письма в социальных науках (исходящего из предположения, что единственный знающий говорит вовне безликой общности незнания), диалогическое письмо направлено «к кому-то» конкретно, а именно к собеседнику. В этом смысле письмо обращает внимание на свой перформативный или иллокутивный характер; мы яснее видим, что оно является составляющим элементом текущей социальной практики. Эта перформативная характеристика может быть акцентирована в различных формах дискурса. Некоторые отважные социальные ученые экспериментируют, например, с поэтическими формами написания. Хотя поэтическое письмо адресно в меньшей степени, чем диалогическое, оно ориентируется на аудиторию и, как правило, таким образом, чтобы пригласить других к более богатым и полноценным отношениям. В качестве примера можно привести то, как феминистская исследовательница Лорель Ричардсон размышляет о природе своего научного письма:

Пока я писала книгу

мой сын, старший, сошел с ума
мой сын, младший, начал грустить
никсон ушел в отставку
саудовцам объявили эмбарго
с родезией что-то там сделали
и моя посудомоечная машина сломалась

у моей сестры, старшей, открылось кровотечение
мой брат перестал разговаривать со мной
мой бывший стал гуру и умер от передозировки
хемлинсы пришли в упадок и вошли в моду
техасцы победили эра
и мои сальники дали течь

у моего друга, нового, появилась опухоль
моего соседа справа застрелили
в цинциннати осудили грех
и моя драцена сгнила

а я трудилась (Richardson, 1997, с. 203—204).

Данное стихотворение особенно привлекательно тем, что оно превращает академическое письмо в форму разрыва, выхода из потока частиц, составляющих нашу жизнь. В то же время, хотя поэзия ни к кому определенно не адресована, она обычно вовлекает читателей в более близкие отношения с автором. То, что, по нашему предположению, находится глубоко «внутри» автора, оборачивается вовне к читателю, чтобы тот мог это изучить и, быть может, принять. Поэтическое письмо требует признания того, что «я тоже». Некоторые инновационные этнографы сегодня схожим образом экспериментируют со способами представления слов тех, кого они исследуют, в поэтической форме. Они пытаются «описать суть» того, как люди оценивают свою жизнь, но так, чтобы одновременно выразить те чувства, которые «абориген» вызывает у этнографа (см., например, Glesne [1997]). Поэтика помогает этнографу вызвать у читателя близкое этому состояние. Говорящий-исследующий-читающий становятся единой субъективностью.

Если вы разберете пример диалогического письма, приведенный выше, вы увидите, что он напоминает театральный сценарий. В некотором смысле мы втроем написали небольшую, местами скучную театральную пьесу. Выявление перформативной характеристики, как в случае поэзии, — это лишь маленький шаг к изучению возможностей организации научного исследования как театрального представления. Относительные перспективы такой организации захватывающи. Достижение драматических эффектов обычно предполагает использование не только слов. Настоящий театр зачастую невозможен без полной согласованности движений, света, звука, объектов и декораций, а также сложных отношений между актерами и аудиторией. По сравнению с театром письмо открывает лишь минимальные возможности отношения. Наверное, ключевой фигурой, разработавшей основания для рассмотрения театра как орудия академического выражения, был Виктор Тэрнер (см., например, Turner [1982]). Тэрнер считал, что этнографические способы документирования (в том числе фильмы) «не позволяют показать многое из того, что предполагает жизнь члена общества, которое снимается на киноплёнку». Можно разработать более адекватный способ понимания, «составив из наиболее интересных фрагментов этнографических данных сценарии, затем разыграв их в аудитории и, наконец, снова придав им этнографическую форму, дополненную пониманием, которое появляется после того, как ты „побывал в шкуре“ представителей иных культур» (с. 90).

Педагогические формы использования театральной игры на сегодняшний день уже достаточно хорошо разработаны в рамках перформативных исследований (см., например, Carlson [1996]). Группы геев и лесбиянок, например, развили политический потенциал перформанса (см. Case, Brett, & Foster [1995]). Социальные теоретики также обратились к театральным модальностям при изучении отчужденных аудиторий: абстракция конкретизируется. Вот короткая иллюстрация из работы философа/активиста Фреда Ньюмена, исследующего взаимосвязь и грани расизма и бедности:

«Сэм: Эй, Пирли. Как дела-то, детка?.. О, извини, малышка. Ты ж больше не Пирли, так? Что на этот раз, сестренка? Телума? Да? Телума. Мне нравится твое новое имя. Говоришь, африканское, ух-ты. Телума. Блин. Теперь у меня есть чертова сестричка по имени Телума. Как поживаешь, ТЕЛУМА (хочет поцеловать ее; она уворачивается).

Пирли: Ты воняешь как кусок дерьма. Когда ты последний раз душ принимал?

Сэм: Да не хочу я никакого душа, ТЕЛУМА.

Пирли: ТАКУМА.... сам же знаешь... **ВОНЮЧКА.** Пойди прими душ, братец.

Сэм: ТАКУМА! О да. Да, я забыл... серьезно, Пирли. Эти африканские имена такие трудные, знаешь ведь. Но звучат что надо. ТАКУМА. Мне нравится, сестренка.

Клево, ТАКУМА. Знаешь, звучит, черт подери, по-настоящему» (Newman, 1999, с. 206—207).

Подобное драматическое письмо особенно значимо для становления относительного сознания. Его автор находится в инородном состоянии, являясь одновременно и собой, и другим. В сходном положении оказывается и аудитория, которая эмпатично слушает. Однако разработка драмы предвещает развитие еще более радикальных областей репрезентации. Мы должны спросить: если драматические искусства легитимируются в качестве модальностей научного выражения, то почему бы не сделать то же самое в отношении всего диапазона коммуникативной деятельности? Если письмо не является чем-то священным — и тем самым закрытым, — то почему бы ученому не расширить репертуар репрезентации, включив в него визуальные искусства, танец, музыку, мультимедиа и др.? Постепенно эти возможности реализуются. Уже существует довольно развитая область визуальной социологии [3]. Качественные исследователи так же начинают обращаться к потенциалу танца (см., например, Blumenfeld-Jones [1995]). В моих педагогических экспериментах многие студенты избирали для своих «семестровых работ» форму видео, веб-продукции и живописи. Один увлеченный студент представил «работу» по теме «Технология и Я» в виде танца. Я редко сталкивался с такими энтузиазмом, новизной и самоотдачей в отношении научной деятельности, которые встретил, знакомясь с различными презентациями, обычно исполняемыми перед одноклассниками и друзьями.

Наконец, я хотел бы привести в пример собственную работу, касающуюся аспектов относительного бытия. В течение ряда лет я пытался дать теоретическое описание относительного процесса, подозревая, что всеми, кроме членов узкой академической гильдии, моя работа будет восприниматься как скучная, непонятная и элитарная. Стремясь расширять ее относительные возможности, я пригласил к сотрудничеству цюрихскую художницу Регину Уолтер. На мой взгляд, произведения Регины бросили вызов традиции самодостаточного индивидуализма, искусно снимая различия между Я и другим. Наше сотрудничество должно было, таким образом, состоять в организации относительной динамики между рядом моих теоретических идей — представленных в более привычном и доступном языке — и серией ее рисунков. В каждом случае литературный образ должен был сопровождаться визуальным высказыванием; мы надеялись, что установленные таким способом отношения будут более живыми, чем сумма их частей [4].

Форма и содержание объединяются... автор сливается со словом... сотканным для читателя... созданным для мира... и письмо больше не служит каналом для устремляющихся сквозь время и пространство сознаний... а составляет сам мир... выявляя и творя отношения... в которых дисциплинирование письма лишь сужает поток... парализуя процесс... в результате которого значение отправляет себя в жизнь...

Примечания

[1] Для более глубокого анализа отношений между просвещенческой концепцией индивидуального знания и риторикой объективности см. гл. 7 в Gergen (1994).

[2] С более широким обзором существующих жанров письма в социальных науках можно познакомиться в Gergen (1997).

[3] Центральный печатный орган этого движения — журнал «Визуальная социология», выпускаемый Международной ассоциацией визуальной социологии.

[4] Для более полного описания см. Gergen & Walter (1998).

Литература

Blumenfeld-Jones, D. S. (1995). Dance as a mode of research representation. *Qualitative Inquiry*, 1, 391-401.

- Bochner, A. P., & Ellis, C. (1996). Talking over ethnography. In C. Ellis & A. P. Bochner (Eds.), *Composing ethnography*. Walnut Creek, CA: AltaMira.
- Carlson, M. (1996). *Performance: A critical introduction*. London: Routledge.
- Case, S., Brett, P., & Foster, S. L. (1995). *Cruising the performative*. Bloomington: Indiana University Press.
- Fox, K. V. (1996). Silent voices: A subversive reading of child sexual abuse. In C. Ellis & A. P. Bochner (Eds.), *Composing ethnography*. Walnut Creek, CA: AltaMira.
- Gergen, K. J. (1994). *Realities and relationships: Soundings in social construction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gergen, K. J., Anderson, H., & Hoffman, L. (1996). Is diagnosis a disaster? A constructionist triologue. In F. Kaslow (Ed.), *Handbook for relational diagnosis*. Wiley.
- Gergen, K. J. (1997). Who speaks and who replies in the human science scholarship? *History of the Human Sciences*, 10, 151-173.
- Gergen, K. J., & Walter, R. (1998). Real/izing the relational. *Journal of Social and Personal Relationships*, 15, 110-126.
- Glesne, C. (1997). That rare feeling: Re-presenting research through poetic transcription. *Qualitative Inquiry*, 2, 202-221.
- Levinson, S. L. (1989). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mulkay, M. (1985). *The word and the world: Explorations in the form of sociological analysis*. London: George Allen & Unwin.
- Newman, F. (1999). What is to be dead? In L. Holzman (Ed.), *Performing psychology*. New York: Routledge.
- Richardson, L. (1997). *Fields of play*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Ronai, C. R. (1996). My mother is mentally retarded. In C. Ellis & A. P. Bochner (Eds.), *Composing ethnography*. Walnut Creek, CA: AltaMira.
- Shotter, J. (1997). Textual violence in academe: On writing with respect for one's others. In M. Huspek & G. P. Radford (Eds.), *Transgressing discourses: Communication and the voice of other*. Albany, NY: SUNY Press.
- Sia, T. L., Lord, C. G., Blessum, K. A., Thomas, J. C., & Lepper, M. R. (1999). Activation of exemplars in the process of assessing social category attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76, 517-532.
- Smedslund, J. (1988). *Psycho-logic*. New York: Springer-Verlag.
- Turner, V. (1982). *From ritual to theater*. NY: Performing Arts Journal Publications.
- Tyler, S. (1987). *The unspeakable: Discourse, dialogue, and rhetoric in the postmodern world*. Madison: University of Wisconsin Press.